

тора, «сверхчеловека» беспределен; при детях, не щадя их душ, он позволяет себе произнести монолог, для русской литературы того времени поистине «самобытный» по откровенному и беззастенчивому имморализму: «Что бояться борьбы и зла?... Нация велика, в которой добро и зло велики... Растопчут кого-нибудь в дверях — туда и дорога... если для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима леди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости и мелочной осторожности... и что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и что такое одно физиологическое существование наше? Оно не стоит ни гроша. Одно столетнее величественное дерево дороже двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры» [8, т. I, с. 305—306]. В воспоминаниях «Мои дела с Тургеневым» [8, т. IX] Леонтьев признается, что у него была манера в повестях и романах вкладывать себя и свои мысли разом в двух героев, что, как мы знаем, присуще Достоевскому, пусть на другом художественном уровне. Идейный и психологический диалогизм начинается у Леонтьева с повести «Булавинский завод» (1852), которая тогда не попала в печать, но была хорошо знакома И. С. Тургеневу. Кстати, Тургенев подметил у двадцатидвухлетнего К. Леонтьева некоторое личностное сходство с молодым Достоевским: «У меня гостил несколько дней Леонтьев... Он привез хорошую вещь, которую я на днях отправляю к Краевскому... Талант у него есть, но сам он весьма дрянной мальчишка, самолюбивый и исковерканный. В сладострастном упоении самим собою, в благоговении перед своим „даром“, как он сам выражается, он далеко перещеголял полупокойного Федора Михайловича... Притом он болен и раздражительно-плаксив, как девчонка» [9, с. 104].

Приведенный монолог Милькеева — не запальчивая словесная крайность: автор вложил в него сокровенную «самобытную мысль». Здесь выражено леонтьевское кредо, которое на разные лады будет затем повторено в его публицистических работах: противопоставление «сверхчеловека» безгласной толпе, «вседозволенность» действий для выдающейся личности. Этим идеям Леонтьев останется верен до конца жизни и будет продолжать позднее их разработку в социальном, политическом, национальном, религиозном и нравственном аспектах.

Но решительно оторваться от либеральной и демократической народофильской традиции русской мысли и русской литературы и Леонтьеву стоило сил. Он пережил подобного рода перелом, или духовный кризис, в 1862 г., когда поправили многие. Объективно это была дворянская реакция на освобождение крестьян, но у Константина Леонтьева она приняла крайние формы: «Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме моем была до того сильна в 62-м году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья. Я идеями не шутил, и нелегко мне было сжигать то, чему меня учили поклоняться и наши и западные писатели» [10, с. 55]. Во всяком случае, в 1864 г. в романе «В своем краю» он уже предстал перед читателем «Отечественных записок», вооруженный открыто декларируемой собственной философией антигуманизма и бонапартизма.

Как известно, принципиально иную интерпретацию, иную оценку находит вопрос о вседозволенности, личности и толпе в романе Достоевского «Преступление и наказание», причем это первый роман великого писателя, идейной основой которого явилась данная проблема. Мысль же о его написании возникает в 1865 г. 6 июня 1865 г. Достоевский писал Е. П. Ковалевскому: «Я начал теперь одну работу...» [2, т. I, с. 407]. Речь шла о «Преступлении и наказании». Окончательный замысел романа относится к сентябрю 1865 г. Планы, сюжет, отношения героев в процессе работы претерпели существенные изменения. Однако если Достоевский